

Это он, Господи!

Константин Воробьев: повести настояще



Легкое дыхание немощи.

Сергей Шаргунов

Первую повесть он написал в тылу врага. С декабря 1943-го по январь 1944 года. Тридцать дней, не отрываясь от стола, писал о плене, откуда бежал. Повесть напечатали

зла. И сюрреалистические видения, что посещают пленного «доходягу». Торжество метафизики, как назвал эти пограничные шатания рассудка другой узник.

Константин Дмитриевич Воробьев писал повести, но был романистом. Автором од-

ков), совестливых, многое испытывавших, сильных художников и т.д. какой-то уж совсем необычайной сиротливостью... Его, что редко для литератора, не заподозришь в наигранности.

Родился и вырос в небогатой многодетной крестьян-

территории Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую группу, влившуюся в литовский партизанский отряд.

Манера Воробьева, если изъясняться языком теории, — «сентиментальный натурализм». Темы Воробьева, если обобщать, — война и деревня. Но язык не повернется обобщать.

«Убиты под Москвой» — начало войны, гибнут отборные бойцы, весь мир рушится под бомбами, и из грязи, из отчаяния, из смерти возникает первозданное чувство таинственного Замысла о Человеке. Смысл есть. И это постигается тогда, когда смысл погран, когда любимая гибнет «в сизом кусте взрыва», как в военной повести «Крик».

Деревенские книги Воробьева о жестоко влекущем красном магните государства. Сырые, насушенные, с запотевшими окнами избушки кромсают без жалости стальные колеса индустриализации. «Почем в Ракитном радости» — о прототипе Павлика Морозова, восторженном сельском кор-

Сельский корреспондент, чья заметка раскулачивает его дядю. Но итог повести светел. Оба встречаются в лагере

лишь в 1986-м. «Это мы, Господи!» Написанная парнем, которому двадцать с хвостиком, книга обжигает. Ранний мемуар о страданиях — есть такая русская литература, вы ее знаете, и эта литература высока. Пытки, расстрелы, каторжный труд, побег... Документальная фиксация кошмарной яви, зверские картины, обнажение

ного большого романа. Так древнерусские повести слагаются в единую гулкую поэму. «Я в самом деле пишу роман. Сюжет его — просто жизнь, просто любовь и преданность русского человека земле своей, его доблесть, терпение и вера».

Воробьев выбивается из числа собратьев по перу (фронтовиков и деревенщи-

ской семье. За неопубликованное стихотворение «На смерть Кирова» исключен из комсомола, однако не затаился, переехал в Москву, где в 1937-м стал ответственным секретарем редакции фабричной газеты. Зимой 1941 года, сражаясь на фронте в составе роты кремлевских курсантов, попал в плен. Прошел через лагера на

Частное дело двоих

Наталья Горбаневская: «Пью за шар голубой»

Наталья Евгеньевна Горбаневская — поэт, переводчик, филолог, журналист, известный правозащитник. Начала печататься с конца 1950-х в самиздате. С 1975-го живет на Западе. Там же изданы ее поэтические книги: «Побережье» (Анн Арбор, 1973), «Три тетради стихотворений» (Бремен, 1975), «Перелетая снежную границу» (Париж, 1979), «Ангел деревянный» (Анн Арбор, 1982), «Чужие камни» (Нью-Йорк, 1983), «Переменная облачность» (Париж, 1985), «Где и когда» (Париж, 1985), «Цвет вереска» (Тинафлай, США, 1993). С 1996-го книги Натальи Горбаневской публикуются и в России (в основном в издательстве «Аргумент-Риск»), совсем недавно ее избранное «Русско-русский разговор» вместе с книгой стихов 2001 года «Поэма без поэмы» увидело свет в издательстве «ОГИ».

— Вы живете на Западе с 1975 года, то есть довольно давно, и, вероятно, видите современную российскую поэзию как бы со стороны. Это как-то образное воздействие на ваше творчество? Или все давно «устаканилось»?

— Нет, не «устаканилось», в стихах (будем говорить о стихах, а не о «творчестве») все время что-то меняется, что-то основное остается неизменным. Но не связку этого с состоянием современной русской — не российской, а русской по обе стороны госграницы — поэзии: я ее читаю просто как читатель, и в ней много интересного и даже замечательного, но воздействия она на меня не оказывает. Я по-прежнему люблю стихи Льва Лосева (пожалуй, самого близкого мне поэта, но эта близость — ни в коем случае не результат взаимовлияния), Бахыта Кенжева — эти имена приходят мне на ум первыми естественно, но вдобавок еще и потому, что за последнее вре-

мя оба опубликовали в журнале по две замечательные подборки. Очень много прекрасной поэтической молодежи, да и поэтов между тридцатью и сорока, но я не хочу называть имен, просто потому что боюсь кого-нибудь забыть, а это



Представьте себе, что кто-то спрашивает Цветаеву: говорят, у вас есть «Поэма чего-то»!

будет несправедливо. Конечно, мне нравится не все, что случается читать, но так ведь бывает всегда.

— Сегодня в России существуют как бы две полярные точки зрения: одна из них настаивает на том, что поэзия — «частное дело каждого», вторая — опираясь на опыт прошлого — говорит о граждан-

быть, подразумевается) одно и то же, и очень простое: поэзия — частное (или личное) дело двоих. Стихотворца и читателя (слушателя). Если она останется частным делом только сочинителя, то есть не пройдет путь «от сердца к сердцу», она не станет поэзией. Если же стихотворец хочет быть демиургом, двигать толпами (мне никогда та-

кого и в страшном сне не снилось), то ему нужно найти этот путь к сердцу каждого из толпы. Но я сомневаюсь, что это возможно: толпа управляется иными законами, ее можно возбудить — на время, а потом она пойдет себе дальше. Поэт —

возьмем к примеру Бродского — сам не в толпе, не над толпой, не перед толпой, он, как завещано Пушкиным, живет один. Живет один, а сочинив стихи, оказывается вдвоем, и этих «вдвоем» может быть как угодно много, но вторые члены этой пары не складываются в толпу или даже общество, они тоже живут одни.

— Я знаю, что в 1983 году, выступая на конференции журнала «Континент» в Милане, вы прочли текст «Язык поэта в изгнании», да и всегда профессионально интересовались развитием языка как филолог. Не потому ли появилась статья о нашем «датчине» (Дале), которая мне кажется великолепной. Как вы пришли к этому?

— Одну причину вы уже назвали: филология. Филолог я, конечно, в научном смысле никакой, но филологическая жилка во мне постоянно трепещет. Словари — мои любимые книги, а словарь Даля — любимая из любимых. А другая — то, о чем говорил Бродский, в частности, в интервью, которое дал мне в Париже: не язык — инструмент поэта, а поэт — инструмент языка. А Лосев сформулировал это смешнее и, пожалуй, еще вернее: «И, как еврейка казаку, Стих поддается языку».

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2